

ВЛАДИМИР
ЛИЧУТИН



ПОСЛЕСАНИЯ

КОЛДУН

Владимир Владимирович Личутин

Обработно – время свадеб

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174470

В.Личутин Последний колдун: ИТРК; Москва; 2008

ISBN 978-5-88010-207-6

Аннотация

Две повести «Обработно – время свадеб» и «Последний колдун» по существу составляют художественный роман о жизни народа проживающего на севере России у самого края моря. Автор раскрывает внутренний мир и естественные, истинные чувства любви своих героев, проявление заботы и внимания к людям, готовности оказать им помощь, не утраченные несмотря на суровые условия жизни и различные обстоятельства в отношениях и быте.

Содержание

1	4
2	23
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Личутин

Обработно – время свадеб

повесть первая

Приходит и в Поморье самая красивая пора, когда зароды завершены и луга покрыты серебристой отавой; когда убран хлеб и пахнут поля спелой землей; когда срублена капуста и в зеленых бросовых листьях копится прозрачная дождевая вода; когда выкопан картофель и вкусно засолились в бочонке маслянистые грузди... Это неповторимая пора конца сентября, и зовут ее в Поморье обработным. Значит, отработались, свою должность хлеборобческую на земле исполнили. И тогда начинают варить брагу, играть свадьбы и петь песни.

1

Только однажды Нечаева Параскева Осиповна попыталась ужиться в городе. Собиралась-то долго, всяких солений-варений упаковала, рыбы сушеной корзину увязала да кадушку харюзов кисленьких, ведь с пустыми руками северо ехать, не иждивенка какая, не параличная.

В общем, собиралась долго, а пожила мало. Показался ей

в Архангельске и чай невкусный, вода больно пахучая, медициной отдает, и бани-то грязные, слизкие, словно век не моют, да и народу набивается туда, как на венике листьев.

Но еще печальнее – Параскева везде боялась опоздать: то казалось, что трамвай убежит из-под самого носа, а потому она толкалась в дверях железными своими руками, в магазине же ей чудилось, будто продукт нужный обязательно кончится перед нею, вон город какой, на всех не напасешься. На улицах пугали машины: поди залезь шоферу в голову, может, он чумной какой.

Не ужилась Параскева в Архангельске и вернулась в свою Кучему. Но хоть и не пришелся город по сердцу, однако в свое время девок из деревни всех вытолкала, мол, «закисните, засидитесь в перестарках, бабий век куриный, а в Архангельском-то парни со всей Расеи-матушки, только не теряйся, да и работа какая хошь».

Вот и сыновья, пусть не на другом конце земли, но тоже при деле, в поселке, на заводе, со своими семьями. Отрезанный, значит, ломоть. Ну и пусть живут, где судьба постановила, куда государство затребовало. И только Степушку-«заскребыша», последнего сына, пожаливала и все зазывала домой, потому как одной скучно, одной и ломтя хлеба вкусно не съесть.

Правда, за стеной, в боковой горенке, жил брат Михаил, бобыль он и на фронте контуженный, потому какое от него веселье.

А Степушка после армии в родимом гнезде не остался, уехал в город, и Параскева в письмах выпрашивала, мол, что сладкого нашел он в архангельской жизни, а сын отвечал: «Весело, ой как весело». Параскева читала письма и ругалась до икоты, до матюгов, мол, какое, к лешему, веселье, если на четверых мужиков один угол в общежитии, а потом Любу-постоящицу просила отписать сыну и все соблазняла того широкими родовыми покоями. Не могла поверить она в сыновью измену, от обиды и слез зрение потеряла, пришлось толстые очки выписать. Может, запуку тайную, заговор какой знает город, так рассуждала Параскева, может, и там есть колдуны, которые тайный умысел ведут, неизвестный ей. Кучемских-то колдунов Параскева насквозь видела, от нее не утаиться, у нее ореховый глаз, не любят колдуны орехового глаза.

Случилось это сразу после революции, когда Паранька была маленькой. Тогда голод стоял, мох ели да кору молодую мололи на лепешки, оттого пухли, животом мучились и помирали. Съездил отец в Жердь, мешок муки достал, пока дома чай пил (устал с дороги), тут дед Никифор кричит, мол, Васька Антонович замок на амбаре сломал да и мешок муки воровски тащит. Горячий был Осип, Паранькин отец, выскочил вдогонку да Антоновича на землю бросил и кулаком по лицу, а тот поднял кровавое лицо и кричит: «Ну, Крохаль, какой рукой стеганул меня, ту и не подынешь боле».

А наутро Осип и не поднял руку, с печи не слез, словно

огонь в теле зажегся, столь муторно стало мужику, хоть отрубай руку напрочь. Пошла жена к Антоновичу на поклон, а потом еще три раза навевалась, но не забывал Антонович обиды, даже и разговаривать не захотел. Вот тогда и послали Параньку: девка в три года уже песни пела, по дворам ходила: «Я гребу, гребу, гребу, лодочка ни с места. Я Ванюшу подожду, я его невеста». Жалели Параньку соседи, шаньгами подавали, а за радостный язык прозвали Параня Москва.

Пришла девчонка к Антоновичу, посмотрела на него ореховыми глазами, только и сказал колдун: «Пусть матка четверть водки ставит. Приду». А тогда в Кучеме известна была его колдовская сила, и никто задуки Антоновича побороть не мог. Пришел колдун в избу, попросил крынку масла свежего, ушел с ним в запечь, говорил на масло тайные слова и кресты чертил, потом, горбаться, залез на приступок и Осипу спину и руку тем маслом натер, и полезла тут из кожи всякая дрянь. Потом уж Паранька отцову руку с неделю, наверное, натирала маслом, и перестала она сохнуть.

В общем, свои-то колдуны Параскеве понятны были, но чем же город заманил ее Степушку, уразуметь не могла и не хотела. По своей одинокой сиротливости зазывала она сына, ведь и самой к шестидесяти идет, а если первые дети для людей строятся, то последний – для своей старости.

Старшие-то разлетелись быстро, ведь на сиротских хлебах рощены. Степан, как с фронта пришел, так и не зажился, от ран помер, только и оставил Степушку.

Он рано заговорил, весь беленький, как молодой снежок. У матери от горя волосы сбелели. Были смоляной черноты, как у вороны, потому и еще одно прозвище пристало – Воронка... А у Степушки снеговые волосы были и глаза зеленые, крапчатые, значит, счастливому быть. Рано он заговорил, еще года не было. Пришла однажды соседка и спрашивает, мол, как тебя, мальчик, зовут, ведь так всегда у малых ребят спрашивают, так заведено, но обычно деревенские несмелые, все голову на сторону воротят. А тут мальчишка свои мокрые лупалки вытаращил и счастливо крикнул: «Степуська». Так и пошло по деревне – Степушка да Степушка. Нынче парню за двадцать, а иначе и не зовут.

Значит, Степушка рано заговорил и каждое слово выпевал чисто, а тогда они в Совполье бедовали и еще муж жив был, на скотном сторожил, но уже сильно кашлял. Однажды утром и говорит Степушка:

– Тата, мама, не ходите на работу, приедет сейчас большой конь и повезет вас домой, дедо умер, хоронить надо.

– У ты, турья голова, чего мелешь, – оборвал отец.

– Деда-то хоронить поедете, а я, мама, как титьку сосать буду? – встал Степушка у порога, ручонки раскинул и не пускает мать с отцом к дверям. – Уже по заулку шарчит, сейчас большой конь будет.

А в тот год снег долго не выпадал, потом пришли большие морозы, все улицы заколели от холода и льдом покрылись, стали словно зеркальце. Вот по этому льду и запоступывало,

и что же, въехал во двор конь, а тут и брат Спирия зашел, от порога говорит:

– Собирайся, Параня, отца хоронить поедем. Только шибко не плакай, как приедешь.

День ехали, а к вечеру и в родной дом зашли, отец уже умытый на столе лежит. Младшие сестры, как глухарки весенние, фукают, говорят Параскеве ревниво: «Вот, Панька, и в смертный час тебя отец поминал, будто одна ты у него дочь». Параскева походила на отца, и тот любил, бывало, готовить, мол, одна ты у меня дочь. А тут, как увидела чужое лицо, совсем маленькое и желтое, будто из старой березы рублено, так и ополоумела совсем, отцовы слова в сердце пришли. Завыла, запричитала Параскева, и кинулось у нее молоко в голову, изо рта потекло. Брат Мишка стал грудь сосать да выплевывать, чтобы от молока освободить.

Может, от этого плача, но только загоркло у Параскевы молоко. Поел Степушка только раз, отказался от груди, потом реветь стал, и с тех пор речь будто отбило, замолчал парень. Знать, от жалости так залюбился меньшенький. Ведь молоко материнское – последнее, да и с горчинкой; еды хорошей не видывал – одна рыба; одежды приличной не нашивал – все обноски да последки, так ведется в больших семьях, рубашки носятся с плеч на плечи, пока совсем не истаскаются. А старший захотел учиться в институте, отрывала копейки, потом средняя поступила на учительницу в педагогический, как не поможешь, да и предпоследний пошел в

институт. Инженером стал, «диплом получил по машинам», а умер от сердца. Пошел на работу, запнулся на зимней дороге, упал и больше не встал. В тот же год и с девятым, Степушкой, беда случилась.

Брат Михаил в боковушке пьяный валялся, а был праздник, Октябрьские, напиться ему дозволено было Параскевой. А сама она на ферму ушла – телят непоеных не оставишь. Степушка прихватил ружье и снялся в Заречье за рябыми в одной ситцевой рубаше. А мороз был, высветлило. Пришла Параскева домой, хватилась парня – нет его. По соседним избам побегала, поспрашивала знакомых, никто ничего толком не знает. Только Ванька, дружок, сказал, что Степушка вроде бы на Заречье за рябыми побег.

Помчалась Параскева по избам, собрала мужиков, кто стоять еще мог, пошла за реку искать парня. А следы уже порошей закатало, так и вернулись ни с чем искальщики. Морозина был, изба только крякает да садится на все четыре угла. Встала Параскева посреди горницы, руками фартук шарит, бегают пальцы по груди – жжет сердце. Поискала глазами по углам, но пусто в избе. Муж Степанушко последнюю выкинул иконку из комнат, когда стены клеили после войны, и только в кухне вместо Николы Поморского с тех пор висит портрет Семена Михайловича Буденного: едет командарм на коне и сабля у него наголо. Упала Параскева на колени, стукнулась лбом об пол перед Семеном Михайловичем, а молитвы все забыты. Только и сказала: «Боже милостивый, поща-

ди и пожалей мово сыночка. Ничего мне не жаль для тебя, праведный, самолучшее шелковое платье отдам».

А наутро мужики отмякли, отрезвели, председатель Радюшин повел их на поиски. Но и на второй день, как стемнело, вернулись ни с чем, только Радюшин в лесу остался, решил по лесу побродить. И рассказывал потом, что Степушка уже калачом свернулся под кустышком, но не плакал, все папу-маму звал.

Четыре часа тащил председатель мальчишку на себе, а ноги у Радюшина еще с войны плохие. Потом обоих в больницу положили рядышком на койки. Хотели Степушке ноги укоротить, уж слишком они обморожены были, но врач хороший попался, спас. Параскева сходила в часовенку и плат цветной на крест повесила: жив сын-то, жив Степушка. А платье, оно единственное, жалко стало Параскеве шелкового платья. Если бог праведный, он должен понять ее.

... Длинные ныне у Параскевы вечера, все можно припомнить. Днем-то еще куда ни шло, пока за овцами присмотришь – последний год решила держать, тяжело стало – да пока в магазин сходишь, а там часом не обойдешься, да пока по дому чистоту наведешь, тут и последний самовар пора ставить. А на улице светло, не уснуть, хоть зашивай глаза, и время будто остановилось.

Есть у Параскевы на комодке маленький Степушкин снимок, не больше детской ладошки, любительский, с желтыми разводами от проявителя, не разберешь, где нос, где гла-

за. Еще солдатский снимок, всего один и послал. Обижалась Параскева, говорила сыну, что вон друзья-товарищи по-всякому наснимались, а он матери и одного путевого снимка не мог прислать. Но та обида была недолгой, потому что сын был весь в ее памяти и Параскева могла видеть Степушку с закрытыми глазами.

– Ишь, как пополнел, небось в армии хорошо кушают, – шептала Параскева, обтирая фотографию шершавой ладонью. – Вон и волосы-то по-новому начал таскать. Раньше, бывало, распустит лохмы, ходит да запинается, бела света не видит. Тоже мне мода...

Еще с неделю помаялась Параскева, поджидая сына хоть бы в отпуск, потом села в лодку, завела мотор и уплыла на дальние покосы кашеварить – председатель упросил.

Воздух над Кучемой да и над всей тайгой был нынче жестким и колючим, словно годовалое сено. Пахло горечью, потому как горела тайга. Она пылала далеко, где-то за Кепинскими озерами, пешим туда не попасть, а вертолетов, видно, не хватало, сказывали, что горит ныне везде, не по всей ли области, так по радио сообщали.

Большой дым оседал по пути на Кучему, но, когда ветер шел с той, западной стороны, небо серело и солнце становилось надолго смутным. Такое ныне было лето, горячее, палючее, лето, какого и самые старые старики не припоминали. Трава высохла и шуршала бумажно, утренние вялые росы

едва могли смочить ее и тут же высыхали под первым солнцем. Косить было трудно, да и нечего, едва подросла трава до коровьего жевка.

Параскева вместе со всеми жила на лугах, кашеварила, тут же и рыбу промышляла, потому что из рыбацкой Параскева семьи, их род даже корову по-настоящему не держивал, все дети одной рыбой на ноги подняты. Но, глядя на желтую траву, и Параскева горевала вместе со всеми и даже поговаривала, что на бога надея плохая и природа-мать свое возьмет, но жаль, вывелись на деревне колдуны, вон и Марфа Семеновна, последняя из кучемских, померла недавно в Северодвинске. Сильна она была на запуки, небось с самим чертом насчет дождя сговорилась бы.

Откашеварив, накормив тоскливых людей – тут и есть-то по-настоящему не хочется, все время комок в горле стоит, – Параскева садилась на свое хозяйкино бревнышко. Становилось под самый вечер уже тихо, только комарье вело постоянный гомон, приглаживала Параскева Осиповна голову, щурила ореховые глаза и шептала постоянно: «Осподи, хоть бы дождь пошел, хоть бы уродился продукт на земле на матери».

Всей душой обращалась Параскева к небу, но было оно безмолвно и зловеще, даже вороны не летали над жухлыми кустами. Какое-то багровое пламя, будто недалшний пожар, пласталось совсем рядом, но не было похоже оно на вечернюю мягкую зарю, отсветы которой легко и прозрачно ло-

жаты алой тенью на сонную реку и на длинные песчаные отмели, сотворяя прекрасный мир.

Вечер и два просила Параскева Осиповна большого дождя. И в этой тиши однажды совсем осмелела она, озлившись на небо. Встала она у своего почетного бревнышка и, даже не осмотревшись кругом, а мало ли кто может подслушать, запрокинула голову, волосы, как одуванчик, распушились по плечам, короткие опухшие ноги сильно уперлись в закаменевшую землю, и казалось, что и трактором не столкнуть сейчас с места задорную женку. Крепкой кости и широка в плечах Параскева, шестипудовики с мукой легко таскала с баржи на длинный угор, с двенадцати лет стояла на неводе, на нижнем крыле, с того времени и закостенела, пошла в ширину. Даже родную сестру Александру, что за Ионой слепым замужем в Белогоре, обошла, хотя и та вроде бы не тонка талией.

Белое круглое лицо Параскевы налилось румянцем, словно кто-то жестоко обидел ее, и хриплый шепот, наливаясь силой, выкатился из круглого рта:

– Так-перетак, бога мать твою...

Здесь Параскева запнулась, словно кто-то остерегающе толкнул в плечо, а может, еще больше хлебнула она воздуха после нерешительного зачина, но сейчас совсем осмелела и начала отчаянно костерить бога. Матерщинница Параскева, вся в отца, но так еще никогда не старалась, вспоминая самые отборные триста тридцать проклятий и посылая их богу.

По старинному кучемскому поверию, озлившись на деревню, пошлет бог ветер-запад, а с ним и дождь. Ругалась Параскева, и невольно вставала в памяти вся ее трудная жизнь: длинная рыбацкая дорога и холодные ночи, горькие от кострового дыма, и отцова смерть, и пять сестер вспомнились, которые в один месяц от холеры умерли, и трое сынков-погодков, что в реке утонули. Все помянула Параскева и тут сбилась со счета, хрипя голосом, пошла на попятную, как бы не сказать лишнего. И вдруг расслышала за спиной:

– Триста двадцать два, триста двадцать три...

Параскева вздрогнула всем телом, будто лешего увидела, сразу захолодела и поникла. Сзади Азиат стоит, Николай Степанович Радюшин, кучемский председатель. Глаза черные, аспидные, скулы, как два кирпича, волосы жесткие, седина явная, будто прошита голова белыми нитками десятого номера. За эти скулы да за темные глаза был прозван Радюшин еще в детские годы Азиатом.

Поговаривали в деревне, что еще прапрадед председателя был насильно увезен ненцами в тундру, а там мягким характером ублажил похитителя и даже его дочь себе в жены взял и не тридцать ли только лет прожил в чуме, настроив много детей. Может, та дальняя, языческая кровь проснулась через много лет, в четвертом колене, потому что крут характером нынешний председатель.

Радюшин, зная, вышел из балагана до ветра, а рассмотрев Параскеву, неслышно, по-кошачьи мягко ступая, при-

двинулся к поварихе, да так и застыл, зажмурив глаза. Они и сейчас полностью не раскрылись, тяжелые веки каменно навалились сверху.

Параскева стояла, робко опустив широкие плечи, и больше ни слова не могла сказать, а Радюшин, гукая, сдерживая напористый смех, рвущийся из квадратной груди, подхватил обращение к небу и, только закончив его, покатился по сухой сенной гребни, смеясь и икая. А на Параскевиных глазах родились внезапные слезы. Они быстро и щекотно бежали по лицу, и душа от этих слез слабела, освобождалась от непонятной постоянной тяжести. Потом и пугливая улыбка скользнула из влажных ореховых глаз.

Параскева толком не знала, что ей делать сейчас, как поступить: то ли ругнуть председателя за большой испуг, то ли предаться легкому плачу, то ли самой подхватить смех? Но только и смогла сказать:

– Не вини, батюшка Николай Степанович. От роду я матюжница.

И заплакала все же, опустила на колкое горячее сено, даже ночь не могла остудить и выпить сладкую жару.

А председатель, словно спохватившись, проглотил икоту, отряхнул брюки от сенной пыли, сзади ворохнул Параскеву за плечо.

– Академик ты, Параскева Осиповна.

Сказал Радюшин хрипло, потому что смех, булькая и переливаясь, еще успокаивался и не мог улечься в широком

его нутре.

– Беда тут большая пришла. Читал я в журнале, что шесть-сот лет назад такая же сушь стояла. И солнце было таким же багровым, как и нынче, и будто гвоздями протыкано. Все, значит, повторяется. Через шесть сотен лет, а повторилось. Правда, мы-то уже нынче не те.

Председатель потер литые, совсем темные в серебряной ночи голые плечи, и непонятный зябкий холод заставил его вздрогнуть. Но только не мог и предположить Радюшин, что влажный воздушный поток, родившись где-то за тысячи километров, докатился до таежной Кучемы и, как первая волна могучего прилива, расплылся в таежной пади, качнув устоявшуюся жару.

Радюшин пошел в балаган, только досказав Параскеве:

– Ты уж потише причащайся, не учи мальцов такой поллитграмоте.

Председатель широко лег на солдатское кусачее одеяло, сразу согрелся, длинно зевнул, и внезапный сон вдруг настиг его и увлек за собой. И не знал еще Радюшин, что успокаивающий душу вольный дождь катится по всей России и в эту ночь особенно хорошо спалось людям.

А Параскева, поворочавшись в своем полотняном закутке среди мешков и ящичков, долго не могла найти покоя стареющему телу, а потом внезапно разворчалась: «Азия – Азия и есть. Ишь ли, ему матюги мои помешали, а сами других слов и не знают».

У нее заныли колени, тягучая боль покатила по голям, застуженным озерной сыростью. Но и мысли не было в голове у Параскевы, что эту боль принес ей будущий дождь. Оттолкнувшись от моря и народившись с новой силой, он уже полоскал во всю моченьку у Пинежского озера и длинной подковой зажимал кучемские пожни. Да и откуда было знать, если три недели безвыездно сидели на дальних речных покосах, так и ставили сено, убегая от всяких вестей, до половины августа.

Дождь пошел под самое утро. Сначала первые робкие капли, будто орехи шелкали, упали дробно на тугую парусину балаганов. Люди заворочались в настоявшейся духоте и не проснулись. Потом все чаще посыпались дробины, внезапно помутнел утренний свет, откуда-то с дальних бугров навалился желтый мрак, ветер тугим полотнищем накрыл сверху, потом все перемешалось – темь, ветер и влага, – и это неистовое булькающее крошево неудержимо пролилось сверху, полоснуло по тугому брезенту, по жухлым ивнякам, по железным травам и все пригнуло, втоптало в мертвую пока землю.

Первыми под дождь вылетели ребятишки-коногоны. В одних трусиках, лохматые от сна и еще недоверчивые, толкаясь и дичая, выбегали под косую крутую влагу, подставляли коричневые ладошки, поливали лица. Уже кто-то запел, дурашливо раскидывая ногами и хлопая по жидкой грязи:

– Дождик, лей-лей-лей на меня и на людей, на меня по ложке, на людей по крошке.

Потом и Радюшин вылез из своего балаганчика, горбятя спину. Дождь хлестанул по крутым плечам и покрыл смуглую кожу бронзовым румянцем, черные волосы осели и расползлись по лбу. Председатель приставил ладонь к бровям, чтобы не секло глаза, осмотрелся кругом, потом и в теплый ливень взглянул, но ничего не разглядел, потому что миллионы косых дождинок впились в лицо, и кожа сразу согрелась, и тепло поплыло по щекам.

– Давно ждали гостя, – сказал он громко и весело, но сквозь дождь никто не расслышал его голоса, хотя мужики, стоя на коленях, высовывали головы из балаганов, мочили волосы и спины, пар поднимался от влажных тел, когда они ложились снова на сено головами вокруг центрального опорного кола.

Параскева последней расслышала дождь. Она откинула полог, но вся не показалась дождю, а подставила только гудящие опухшие ноги, и будто сотни жадных муравьев впились в кожу. Водяные пузыри, как грибы, выросли и лопались вокруг ног, обдавая теплой грязью. И, странное дело, ноющая боль, мгновенно окрепнув, вдруг стала отступать к пяткам и совсем растворилась, оставив на коже лишь легкое жжение, будто настегали молодой крапивой. Тепло стало ногам, а Параскева, машинально нагибаясь и подставляя белую голову дождю, загребала пригоршнями липкую грязь, намазывала обветренные ноги и повторяла:

– Слава те, господи, дождь. Знать, не зря материла. Теперь

уродится продукт на земле на матери.

А потом в зеленой болонье – подарок дочери, – похожая на кургузого жука, она зашлепала босыми широкими ступнями по сверкающим лужам, по серебряной молодой траве, и дождь быстро замывал за нею седой длинный след Лошади-гнедухи, совсем черные от дождя, сиротливо жались под ивовый куст, воробьи, нахохленные, похожие на кусочки бросовой шерсти, прятались в дурманном смородиновом листу, сияли мокрым лаком ножи косилок, меж красных берегов кипела и пузырилась река, и похоже было, что лилось там молоко. Все это разглядела Параскева сквозь спокойную уже дождевую прозрачную шаль.

Не успела она дойти до травяного озерца, где вчера под вечер поставила сетку, как промокла насквозь. Плащ-болонья съежился, и дождь стекал на лодыжки, приятно щекотал сонную кожу. Дождь катился по глазам и щекам, попадал в рот, Параскева захлебывалась, но лицо не сторонила, а только фыркала, как довольная сытая лошадь, сдувая в сторону водяные нахальные струи.

Вот поди ж ты, чему может радоваться человек. В прошлом году от дождей горевали, их кляли и поносили на чем свет стоит. Дожди тогда закабалили Кучему, не дали копешку сена сухого поставить, так на корню и погнило, а нынче вдруг замучила жара и трава встала не выше карандаша – и это опять горе. Вот и приноровись к природе, поймай ее нрав и пойми капризы.

Параскева была сегодня рада дождю, как завтра нестерпимо захочет солнца, ведь свое желание, как отблеск бегучей воды. А сейчас Параскева, работая локтями, сдирая с мокрых щек липкие душистые паутины, спотыкаясь о скользкие корневища, сразу по колено провалилась в илистое озеро. Трудно выдирая ступни, она прошла осоту, потянула за кол и только коснулась рукой веревки, как сердце дрогнуло, пронизанное мгновенной новой радостью.

Не оглядываясь, волоча за собой сетку, Параскева уже знала, что улов хороший, какой славный улов, а ведь закинула сеточку так, между делом, чтобы проверить озерцо. Так себе озерцо, хорошей лошади раз напиться. И вот в сетке, зевая ртами, лежали караси. Дождь промывал их темные каменные глаза и оживлял заново. Рыба толпилась в тесном закутке, и, когда Параскева закинула сетку за плечи, пуда полтора было в ней, не меньше, она тяжело затолкалась в спину.

Любила Параскева карасей. Семужью уху не ела, тошнило с нее, казалось, что на ворвань отдает, и леща не могла переносить, мол, больно костлявый он, а вот карасем баловалась, хотя больше карася илом никакая рыба, наверное, не пахнет, а кости, как волос, тонки и коварны. Но поди ж пойми человека, его слабости и странности. Сейчас карасей этих в молочко да луку кружочками, попарит в жаровне, картошечки сверху положит – всей бригаде намакаться хватит.

Рыбу Параскева так и бросила под дождь у своей палатки, пусть люди смотрят, какой она рыбак: у нее сам Азиат сове-

та просит, она реку Кучему на тысячи шагов вышагала, ей каждый порожек знаком, каждый камушек и озерная трави- на подсчитаны... А эта рыба так, для забавы, отдых от кострища. Бросила Параскева карасей, сама под брезент заползла, отсырела, хоть выжимай, нитки сухой на теле нет.

Плащ, словно змею, она отбросила в угол, кофтенку туда же, и платье, и рубашку нижнюю, осталась в одних розовых штанах, волосы, словно мокрую пряжу, выжала в две руки и тогда повалилась на сухое горячее сено, откинув ногой одеяла. Легла, раскинув полные белые руки, и сказала громко и неожиданно:

– Господи, хорошо-то как. Будто двадцать лет с себя сбросила.

Потом легкое забытие вместе с клеверинным густым запахом накатило на Параскеву, а за ним следом пришел радостный короткий сон. Уже засыпая окончательно, еще подумала: «Что же я растелешилась, вдруг кто зайдет... Ну и леший с ними. Что, бабы старой не видали?» Уже тяжело и истомно было шевельнуть отрадно усталым телом.

А по балагану мягкими детскими руками хлопал и хлопал смирный дождь.

2

Сын Степушка приехал неожиданно, словно с луны свалился, даже телеграмму не подал. Хорошо, Параскева вернулась в Кучему за хлебами. На складе продукты получила, по дому управилась, письма всем разослала, а до вечера еще далеко. Параскева сидела у низенького окна. Несколько дождей хорошо смягчили землю, соки хлынули в корни и погнали травы добрые и сорные в рост. Такая зелень густая пошла – ножи косилочные не берут. Вот и под окошками иванчай поздно зацвел, а теперь качал ватные шапки, и легкая пена, касаясь стекла, оставалась на нем клочками. Вечерело уже рано, август кончался, но дни стояли ровные, хоть и жаркие, но не потные, и легкий холодок гасил дневное солнце.

Параскева сидела у окна и раздумывала, что рано утром надо снова ехать на пожни, а она вот от поварни устала, шестой десяток закругляется, а попробуй бригаду в двадцать мужиков накормить, да досыта, чтобы животы от еды трескались, а не поедят до горла, тут и работы с них не проси. Так председатель и сказал Параскеве, когда просил поварить на пожне. Сейчас бы заместиться кем, но пусто в деревне, правда, отпускные есть, но те, как на курорт, на родину едут, их на луг и трактором не затолкнешь. Женки нынче по строгому учету, даже на хлевы доярок не хватает. Смехота, и только...

Бывало, после войны девки мужиками наряжались да

этим блазились да утешались: через каждый дом вдова или девчушка на подросте. Все женихи в чужую землю легли. Разве бы Параскева своих гнала в город, разве бы на своем дворе тесно было? А ныне смехота... Парни до тридцати лет по деревне бродят, не женятся. Двадцать пять бобылей – видано ли дело. А невесты-то в няньках по городам. И неужли дома хуже, на земле на матери, да своих кровных нянчить-баюкать.

Вечером стало совсем тихо, и Параскева, усталая от мыслей, пошла на угор, на лавку – всеобщую сплетню и говорильню, но и тут посудачить не с кем было. Только бабка Морошина провела на поводке собаку и даже лица не повернула. Параскева плюнула вослед, уселась поудобнее, коротковатые ноги уплыли от земли и качнулись. Красный каменистый угор круто уходил вниз, и Параскеве однажды даже показалось, что она от лавки поднимается и летит вниз. Она вздрогнула, поерзала на скамье, чтобы прочнее укрепиться на ней.

Река была прозрачная, и даже отсюда, с вечереющего верха, где свет оставался дольше и чище, виден был на дне каждый камушек, и длинные мохнатые водоросли, словно зеленые волосы, волновались по течению. Громко плесканула семга, она, круто выгнув спину, кинулась вбок, в самый берег, где Маруська Шаньгина стирала простыню. Рыба пугнулась белого, как облако, надутого полотна и еще метнулась вверх. Днем, Параскева знала это, семги стояли на перекатах,

шевелили хвостами, водили крючковатыми носами, береглись солнца, а в вечерние сумерки они поднимались вверх, в дальние родовые ямы, чтобы потом, оставив потомство, едва утащить дряблкое раненое тело обратно в море.

Сейчас, под самый сентябрь, идет матерая, черно-спинная, самая жирная рыба. Ее бы на блесенку, да на куски порезать, да на недельку в хороший тузлук, а потом подать к горячей картошке на вечерний чай.

Правда, нынешнюю рыбу не едят, дорогая она – штраф пятьдесят рубликов да снасти заберут и еще тюрьмой пристроят, – значит, не едят ныне семгу. Но есть еще, есть отпетые мужички, которых страх не долит, те и нынче с уловом. Бывало, и она, Параскева, без рыбы не сидела, не для себя доставала, сама Параскева к семге глухая, но колхозу на блесенку доставала. Ее блесенку семга любила, скрывать нечего.

И опять Степушка вспомнился, как из-за семги едва не потонул он. Параскева своих блесен не дала, только посоветовала сходить к деду Геласию, у того должен быть старый ручной медный котелок из настоящей красной меди, и если дед даст, то блесенку можно отковать заманную. Правда, дед Геласий хитрил, нет, говорит, у меня ручной медный котелок, но потом пожалел мальчонку и отковать блесенку помог. Большой он мастер на всякие рыболовные штуки, потому как сам всю жизнь на озерах и реках прожил, никогда порты у него от воды не просыхали, оттого и прозвище получил – Мокрое Огузье.

Пока Параскева на берегу балаган ставила да костер разводила, решил Степушка ту блесенку покидать. Сел он на лодку, вертучая посуда, пустил мотор на малых оборотах, на корму сел, а бечеву с блесной к ноге привязал. Далек ли от берега отъехал, как схватила семга. Повернуться лицом к рыбе нельзя, а сноровки, чтобы на себя тащить, нет еще, да и силенок маловато. Велики ли в пятнадцать лет силы. Рванулась семга, знать, велика ульнула на крюк, и повернула Степушку вместе с лодкой. Только и успел парень крикнуть, как в воде очутился. А бечева за ногу тянет, нога немеет, семга на блесне дичает, руками за лодку держаться уже терпения не хватает. Хорошо, крючок сломался, ушла рыба.

Вспомнила Параскева эту историю и снова за Степушку забеспокоилась, как бы не обидел его кто в городе. Ладощку ко лбу приставила, словно сына рассмотреть готовилась, взгляделась в спокойную зарю, в дальнюю синюю гору, поросшую лесом, Дивью гору, куда в давние года хаживала с отцом собирать на чай толсто-коренную богородскую траву. Взойти бы ныне да посмотреть на родную землю сверху, тут и, пожалуй, успокоиться можно. Вот и жизнь была, как та Дивья гора, казалось, что и не забраться вовек, а как взошла да вниз глянула, вроде и не ползла, не карабкалась, совсем рядом детство.

Потом Дивья гора окрасилась розовым светом и смотреть на нее стало трудно, легкий прохладный ветер прошумел над головой, и тут народился туман. Он, словно дым, поплыл по

реке, скрывая бегучую воду, а потом и вовсе заровнял берега заодно с лугом и лесом, и родилось под ногами Параскевы сплошное молочное поле. Но небо вверху было еще совершенно чистым, синева казалась густой и близкой, а звезды столь яркими, что можно было их считать счетом. Но вот одна звездочка сдвинулась и потекла вниз. «Чья-то жизнь скатилась», – подумалось Параскеве и стало жалко кого-то.

Но звезда лишь сдвинулась и не погасла, следом раздался легкий гул, потом густой льющийся звук разбудил деревню. Знать, прилетел поздний самолет. Заскрипели двери, в проемах показались белые лица, ожили и словно зашевелились избы.

Говорят, сердце вещун. И действительно, зануло оно у Параскевы, шевельнулось: самолет-то не наш, не кучемский, в эти-то поздние поры и не летывал в деревню, а вдруг и Степушка на нем припожаловал? Сразу захлопотала Параскева, заторопилась домой, уголья по пути с повети занесла, неосторожно плечом корыто деревянное задела – на стене висело, – плечо ушибла и впопыхах подумала еще, что выбросить нужно это барахло, ведь семья сам-один и капусту на зиму ныне шинковать не для кого.

И только самовар разживила, углей побольше напускала в трубу, чтобы дольше фурчал, и вознамерилась поспешить к самолету, как по мосткам под самыми окнами столь знакомо забрякали отдельные шаги, что Параскева сразу подумала: «Однако, сынок приехал».

Она успела только защелку открыть, как дверное кольцо по-хозяйски требовательно заверещало, тут дверь распахнулась и порог перешагнул сын. Степушка запнулся глазами о полумрак – в сенях было темновато, ведь середина августа, а свет электрический провести здесь было некому. Мать он разглядел сразу. Она обхватила мягкими руками, пригнула шею, прохладными губами затыкалась в Степушкино лицо, а парень невольно замешкался и только прислонил свое лицо к матушкиной щеке и поспешил отодвинуться. Что поделаешь, в эти годы охотнее целуют девушек, а мать приласкать долит мужской стыд. Степушка чувствовал внезапную мужскую неловкость и от матери отодвинулся, а та еще теребила пальцами радостно и суматошливо на сыновней груди, зачем-то ощупывала пуговицы и обласкивала еще не заматерелую спину и худые бока. Всего-всего встречала и осматривала Параскева сына, словно убеждалась, ее ли кровный, не спутала ли с кем.

А Степушка сел у стола, маленький красный чемоданчик поставил у печи, ноги в фасонных ботинках широко раздвинул на чистых крашенных половицах. Было ему неловко в этой избе, словно чужим и незнакомым был дом, и только по странной случайности Степушка оказался тут. Он посмотрел на часы, было только семь вечера, спать еще рано, а в клубе в будний день пусто, значит, до одиннадцати надо дома коротать.

Сразу захотелось выпить, потом пройтись по соседям, по-

казаться самому и на людей посмотреть, и как-то легче стало от мысли, что впереди еще столько давножданных встреч. На мать Степушка глянул коротко, он еще стеснялся ее совсем по-детски, вернее, побаивался, а потому дичился и напускал на себя нахальство и строил баламута. Параскева же глаз от Степушки не отрывала, только изредка поворачивалась к самовару, спускала уголья, потом резала хлеб да харюзов кисленьких наложила тарелку, картошки холодной начистила, ведь к гостю не готовилась, неожиданный он.

Смотрела неотрывно Параскева и отмечала про себя, что вроде бы совсем не изменился сын: и глаза те же, как кора молодая ивовая, а нос-то отцов, длинненький и острый, а волосы, господи, опять патлы отрастил, ведь какой хорошенький был, когда из армии пришел. Небось хорошо-то не проживешь в городе, там присмотреть некому. А курить так и не бросил, не успел ноги за порог занести, уж зубы папиросой заткнул, а значит, весь вечер промолчит, да и спать молчком ляжет.

Горькая эта мысль чуть-чуть замутила Параскевину радость. Молчун сын, сама виновата, запоила парня горестным молоком, а ведь какой был говорун, слова-то так и лились.

Параскева затащила на стол самовар, чай по чашкам разлила, придвинула к сыну и масло, и рыбу, и молока парного литровую банку: ешь, сынок, ешь. Все потчевала, а Степушка сидел к столу боком, нога на ногу, большие гамаша, отцова нога-то, сорок третий размер, и походочка отцова. Он

выкурил одну папиросу, потянулся за другой, пыхтел табаком прямо матери в лицо, а та запаха табачного переносить не может, задыхается сразу. Тут и еще на капельку замутилась Параскевина радость. Подумала уже, легко расстраиваясь: «Хоть бы мати пожалел, фукаешь табачиной».

Тень набежала на шадроватое, побитое оспой лицо, пригладила Параскева седую голову, но вслух сына не укорила, смирила гордыню, а как подняла взгляд, так сразу поймала Степушкин лик с голубыми подглазьями.

– Ты ешь, не сиди, да брось курево-то. Никуда не убежит, – сказала тихо, но настойчиво. – Вон как замер, одни глаза да нос.

– Ну ладно, не с голодного же острова приехал. Захочу, так поем, – вяло ответил сын и совсем напусто, даже сахара кусочек не съел, выпил стакан чая.

– Да как знаешь, было бы предложено, – уже обидчиво сказала Параскева, закипая нутром и подавляя в себе желание раскричаться. Знала Параскева свой характер, отцово наследство. Чуть не по нраву, сразу накричит, наругает, обкастит с ног до головы, а через полчаса уже глаза опущены, ходит по избе, к рукам ничего не льнет, каждая работа вываливается, ноги не носят, на ровном месте спотыкаются – ищет Параскева примирения.

– Поди поспи, ведь устал с дороги. Ложись, я тебе пуховую перину застелю. Небось у матери-то – не в общежитье под солдатским одеялом.

А сын не ответил, пошел в горницу, косолапо ступая длинными ногами на всю ступню – отцова поступочка, от всех отлична. Степушка еще вытянулся вверх и, видно, роста своего стеснялся, потому что стал сутулиться, чего мать раньше не подмечала, угловатые плечи задираются к голове, и руки неловко болтаются вдоль тела, вылезают из короткого свитера. Старенький свитерок – Палька, сестра, подарила еще два года назад, как из армии пришел. Так и сгорел на парне, вон и дырочки на локтях, а зашить-то уж некому...

Параскеве опять стало грустно, и теплая волна жалости и любви настигла ее душу на самом распутье, когда не знала уже она, как себя повести и как подойти к сыну. Параскеве уже хорошо стало. Она разогрелась, чашку пододвинула под краник и, наливая чай, прислушивалась, что делает в горнице Степушка. Потом подумала, что, наверное, обидела сына. В кои-то веки, один раз на год, приедет домой, а мать даже привальную стопочку не поставила. Может, брата Михаила пригласить, а где-то в буфете есть бутылка водки, начатая еще в Майские, так пусть разговоятся мужики.

И уже хотела подняться к буфету да кликнуть в стенку брата, но заметила, что напачкал Степушка на полу. В родной дом пришел, а обувку у порога не скинул. Надо вот тряпку брать да подтирать. А тут еще вспомнилось, что в пять утра на пожню ехать, значит, сына одного в деревне придется оставить, но как его бросишь, если долгожданный он, но опять же и бригаду на лугах голодной не оставишь.

Параскева выглянула в низенькое окно. Свет в правлении уже не горел, значит, председатель домой отбыл, накинула на плечи плат и отправилась уговаривать Радюшина, чтобы тот освободил от поварни и дал посидеть около сына. Вернулась она быстро. Вышло все, как мечталось. Радюшин за крестника своего пораздовался и даже обещал навестить.

Параскева расправила Степушке пуховую перину, постель была прохладной, простыни, никем не тронутые, вылежались, чуть попахивали сыростью, нафталином и синькой. Обычно постель стояла убранная, под ярким розовым одеялом, с горой сдобных подушек и разбиралась только для детей. Сама Параскева спала на кухне на широкой деревянной кровати, перебралась на нее после смерти мужа. Постоянное тепло от печных каленых камней, что струилось по кухне, согревало простыни, и ложиться в них было не так дрожко.

Параскева скинула платье и еще долго ходила босая по кухне: крашенные скользкие полы таили в себе нежную прохладу и вытягивали жар из слабых ног. Потом крикнула через стенку, затеявая длинный разговор, ведь Параскеве так хотелось устроить Степушкину жизнь.

– Милку-то в Архангельском не видал? Она на трикотажке работает.

В горнице настороженно скрипнула койка, наверное, Степушка повернулся лицом к стене, но ответа мать не дождалась. Тогда, не отставая, Параскева спросила снова:

– Степушка, ты пошто не женишься? Вон девок в городе

сколько.

– Что, мешаю вам? – ответил Степушка, кровать опять длинно скрипнула, босые ноги мягко прошлепали по полу, прошелестела спичка, значит, опять закурил парень. «Хоть бы сонный-то не баловался, – подумала Параскева. – Не дай бог, заронит куда спичку, ночью все сгорим».

– С ней-то не видался? – опять спросила вслух. – Как там поживает? Мать-то в Архангельск ездила, дак даве в потребилровке хвастала, мол, Милка деньги большие зашибат. Врет опять, чего ле? Они, Крапивины, порато ввали.

Параскева вся напряжинилась, затаила в себе воздух, даже забоялась вздохнуть громко, чтобы не упустить ответа.

– Ложись спи, чего пристала, – донеслось из горницы. По голосу Параскева поняла, что злодейка-широкоглазка Милка парня затравила и потому дурь из его головы не идет. Надо скорее Степушку оженить. Параскева лежала на широкой кровати, было уже темно, как в черной бане, спать не хотелось, самое время для раздумий.

... И что за Милкой потянулся? У нее и мати-то трясоголова, с моим старшим братом на угоре за магазином лежала, костила Параскева соседку Нюрку, да и дочь такова же, трясет головой, как сторублевый конь. Этот ей не гожа да тот не подходящий, видно, ремнем мало пороли, вся в мати. Ведь в прошлом годе снюхались: она в отпуск, да и Степушка привелся на Кучеме о ту пору, вот и запоходили неделю да другую. Вдруг однажды заявляет, мол, не могу больше, пойдем,

мать, Милку сватать. Пошла, как к порядочным, все старое забыта, все сплетни за воротами оставила. А поговаривали в Кучеме, что Милка с парнями в городе хорошо юбкой трясет, да уж если парню в ум запала девка, теперь поздно перебивать.

Пришла на петров день сватать Милку Крапивину. Те суп хлебали, к обеду Параскева привелась. Встала на кухне, матицу не перешла, в пояс склонилась.

– Я пришла не стоять, не сидеть, а за добрым словом, за добрым делом, за сватосьвом. У вас есть дочи Милия-княгиня, у нас парничок Степан – князь родимый. Нельзя ли их вместе свести, род завести?

А что в Милке хорошего? Рыжая, зубастая, а тоже высоко себя ставит: закривлялась перед Параскевой, попросила жениха привести, это чтобы его большее обидеть. Так Параскева задним умом ныне понимает. Ну, Степушка пришел, склонил голову. Параскева повторила:

– Дуть ли на ложку, хлебать ли уху? – Мол, согласна ли ты, девка, замуж пойти да совместную жизнь завести себе на радость, людям на посмотрение. А невеста отрезала вдруг:

– Не дуть, не хлебать...

У Параскевы от радости, что не сговорились, уж больно не любя ей Милка, даже спина вспотела, но виду не подала, острым языком подрезала хозяйский норов:

– Бедна невеста, нас, сватовьев, и чаем не напоила и за стол не посадила.

А дома Степушку руганью оглушила, рожи корчила, представляла, сколь уродлива Милка, страшна, как лошадь, и блудлива, как мати. Но Степушка сидел бледный и молчал, а потом заплакал, не стесняясь Параскевы. Наверное, в последний раз плакал он и еще больше уходил в себя, мучая ослабшую душу горькой обидой.

– Люблю ее.

– Выбрось из головы рыжую лягушку.

– Не могу без нее, люблю, и все.

– Ты посмотри, сколь она страшна, околдовала тебя, у нее и ноги-то кривы. Неужто другой, покрасивше не найдешь?

– Што ли с собой поделаю, не могу я без нее.

– Ну и дурень. Поди на поветь, там веревок много, выбирай любую и на моих глазах давись, – кулаком об стол приложилась Параскева, кровь ударила в лицо, стекла затетенькали мелко от хлесткой ругани, совсем потеряла себя Параскева. – На моих глазах и давись. – Побежала на поветь, вожжи с крюка сдернула, бросила на пол в ноги сыну. – Попили вы из меня кровушки. Ночей не досыпала, куска не доедала, вам оставляла, все думала, в люди выйдете.

Потом заплакала, завyla громко, по-бабьи. Степушка испугался, легко материны плечи погладил, холодно погладил.

– Ну ладно. Ты чего. Ты не реви.

– Ты думаешь, я стара старуха, дак и ничего не понимаю в любви?

... Сейчас Параскева вспомнила неудачное сватовство.

Подумала, наверное, с того дня обижается сын. А чего таиться, будто мать чужой человек. Ведь когда-то и к ней ходили сваты наперебой.

Всем отвод давала Паранька Москва. Любила одного Филю. Тихий парень был, курчавый, любила в русых кудрях ласкаться, чудные были волосы, все дымом пахли. От пастушьих костров задымел Филя, только лицо не брали ни ветер, ни солнце, белое лицо, как льняное полотенце.

Договорилась однажды с Филей, что врозь жить уже невозможно, грех рядом, боялась Паранька не совладать с собой. Подарил Филя колечко золотое, спрятала его Параня в потаенное место на груди, а жениху платочек вышила: «Кого полюблю сердечно, тому подарю платочек навечно».

Вот и пришла в Троицу мать женихова сватать, а отец отрубил: «Брать-то – не кобылу в стайке поймать. От лета коров не продают и девок не венчают». Параня пять раз отцу в ноги становилась, но тот наотрез: «Все равно за сколотного не отдам».

Потом еще три раза сватал Филя, но так и не добился Парани, а время идет, засватал другую девку. Идут они от венца, а Параня на повети в дырку в воротах подглядывает, от слез глохнет.

А уж встретились снова через пятнадцать лет, Филя отыскал. На душе тошнехонько стало, но прежнего не вернешь, не воротишь, от мужа и четверых детей не побежишь. Достала Параскева колечко давнее, золотое, обручальное из пота-

енного места и вернула Филе. Зачем теперь колечко хранить, раз не судьба была вместе жить, но приказала и платочек отдать, где ее руками ласковыми было вышито: «Кого люблю сердечно, тому подарю платочек навечно». Вернул Филя платочек тот, пятнадцать лет на груди хранил. С тем и расстались.

Не пришлось Паране выйти за любимого, но и в отцовском доме не житье – по лавкам четырнадцать, а Паранька по годам пятая, значит, быть ей за няньку, да постирушку, да повариху. Все здоровье суждено ухлопать на меньших братьев.

А жил в Кучеме Ефимко, форсистый парень, все-то волосы слюнявил да набок ладонью приглаживал, оттого и прозвище заимел – Ефимко Пробор. Ходил парень в хромовых сапогах бутылками, часы на груди на толстой серебряной цепи, за спиной гармонь врастяжку. У самого пальцы короткие и толстые, играть не умел, другие на посиделках играли.

Шесть раз сватался Ефим к Паране, а та наотрез: «Не бывать тебе в моих мужевьях». А парень только фасонисто приосанится, глазами гневно заиграет: «И норовистую кобылу объезжают». Пришла однажды Параня на посиделки к Феколке Морошине, а там Ефимка уже всем конфеты в цветных бумажках дарит, из Архангельска присланы. И Паране две конфеты достались, но будто бы, а может, показалось только, одарил ее Ефимко в особицу, чуть ли не тайно в руки сунул. Ну, а на конфеты не смотрят, их едят, тем более что

в Кучеме эта сладость редкая, после гражданской уж который год и сахара не видали, а тут на тебе, сразу две конфеты. Съела их Параня, и будто бы что-то в душе струнулось. Как домой пошла, вроде бы за платье кто придерживает, идти не дает, а ноги в одиночку не несут. Замедлила девка поступочку: вдруг так захотелось ей, чтобы догнал Ефимко да за плечи горячо обнял. А тот сзади сапогами редко перебирает, но ровень не идет и девку за плечи ласково и больно не берет.

Зашла Параня домой, в горницу проскочила, на сундук у окна повалилась и все в окно вечереющее смотрела, как удаляется вниз по длинной улице ее, уже ее Ефимко. И до того стало вдруг грустно, что всю ночь проплакала, Ефимко из ума не шел.

Будто сейчас и случилось, так ясно лежит на памяти то утро. Встала, рассказала брату Саньке всю печаль, а тот и рассудил: «Беги, Панька, из дому, быть тут тебе в няньках». У девки сразу голова заработала, стала она думу думать, как бы из дому сбежать, а это нелегко было сделать, потому что в прошлом году наезжая цыганка нагадала, мол, помрет отцова любимая дочь не своею смертью.

Пошли с ушатом за водой, Параня и говорит брату: «Как ушат занесем, я коромысло у печи поставлю и на тебя ругнусь, мол, и коромысло-то из избы лень вынести, а ты в ответ и скажи, мол, сама не барыня, не разорвессе от этой тяжести. Я коромысло на двор понесу и совсем не вернусь».

Как сговорились, так Параня и сделала: понесла коромыс-

ло на двор, в материно лицо не глянула, та как раз тесто из квашни на стол вываливала, хлебастряпала. А потом огородами прибежала в избу к Ефимке. Тот утренний чай пил. Так и оторопел парень. А на девку словно помутнение или отравка какая нашла, сразу с порога бухнула: «Бери меня, Ефимко, в жёны».

Тот недолго терялся, сразу побежал за Паранькиным дядей, чтобы он обережь сделал от порчи колдуна. Ведь дядя Паранькин тоже крепкие запуки знал, но, конечно, против Антоновича Васьки устоять не мог.

И вот будто сегодня то случилось, как дядя поставил Параню под матицу в Ефимкиной избе да кусочком стали порезал палец девице и омочил ту сталь в крови, а потом очертил вокруг Паранькиного тела и страшные заклятья шептал. И знать, совсем окрутил ее, если и к вечеру не охолонула, а на завтра и под венец пошли, свадьбу сыграли. Там и дети народились один за другим вдогонку, а Ефим-муж после свадьбы как запил, так более и не просыпался. Чуть за сорок было, когда сгорел от вина.

Будто намучилась под самую завязку от семейной жизни, нахлебалась горяшка и радости вроде не видела, но перед самой войной Степан вдовый к себе позвал, не отказалась, пошла, своих шестерых к его троим привела, а с фронта вернулся муж весь покалеченный. Тихий он был, мухи со щеки не сгонит, а как Степушка родился, был уж совсем плох, а через три года и все... помер.

Параскева от длинных мыслей заснула поздно, еще не однажды вставала, пила из ушата студеную воду, и только когда свет замерещился, вроде прикорнула немного на одно ухо, как птица крохаль: отцова повадка. Тот, бывало, тоже больше часа и не спал. А разбудил Параскеву неожиданный дождь. Она сначала, открыв глаза и уловив взглядом серое утро, не могла понять, откуда этот шум: то ли мыши в запечье шуршат, то ли в стены кто скребется. Потом вода сильно пролилась из желоба, и Параскева поняла, что на улице дождь. Сквозь старую бревенчатую стену, сквозь порыжелые обои было слышно, как колотил он по крыше, потом накапливался в желобе и скатывался звонко в жестяную детскую ванну.

Степушку тоже разбудил дождь. Он неожиданно выплыл из сна, как выходят из леса на дорогу. В пуховой перине лежать было благодно, словно и не было твоего тела, оно все растворилось в бесконечной доброй мягкости. Будто не было и забот, и расстройств, они все забыты в далеком городе и уже не вернуться сюда, в эту избу, где каждая вещь стоит на своем месте с детства, будто и не уезжал отсюда, где каждая комната пахнет неистребимыми запахами паутины, печного тепла, шалфея и кислых харюзов.

Из сонного забытья Степушка долго и непонятливо смотрел на низкий щелястый потолок в голубых разводах от синьки, потом повернул голову влево, увидел небольшое оконце. Шел дождь, он звонко и особенно уютно в этот ранний

час падал на стекла. Потом Степушка перевел взгляд и вдруг увидел мать. Она стояла у простенка перед крохотным зеркальцем в одной ситцевой рубаше до пят и прибирала большим костяным гребнем жидкие волосы, и вся она была сонная и добрая, и морщины еще не высеклись от новых забот.

Чувство неожиданной мужской доброты навестило Степушку, и слышал он в себе любовь к матери. А дождь все так же ровно стучался о стекла и шуршал в пожухлой траве, серый свет едва пробивался сквозь заплаканные окна, в комнате было по-утреннему прохладно, и уличный воздух тонкой влажной струйкой сквозил в щели наличника над самой головой. Степушка потянулся длинным молодым телом, качнулся в пуховой перине, уплыл под стеганое одеяло до самых глаз и уснул заново с большим желанием.

Радость от знакомства с домом не покинула Степушку и утром, когда босой бегал он по крашеному полу, а потом сидел в переднем простенке, где висел все тот же Буденный на коне, и с наслаждением и фурканьем отхлебывал чай из блюдца. Степушка крутил головой, обегая глазами обои в коричневых цветочках, и широкую добрую печь в пол-избы, и медную посуду на наблюднике, и уже хотелось сидеть в этом простенке долго-долго, так просто шевелить босыми ногами в больших кусачих катанцах и бездумно глазеть в окна.

А дождь все не переставал, сиротский занудный дождь. Мостки матово блестели, будто был утренник и белая снежная пыль еще не успела истаять. Если кто-то бежал по мост-

кам, то вода хлюпала из-под половиц фонтанчиками, брызгала по ногам и оставляла на икрах некрасивые, чужие черные пятна. Трава в заулке намокла, поникла, была какой-то бесприютной и непричесанной. Потока стекала с крыш в черные от влаги бочки.

Вот по мосткам прошла длинная старуха в фуфайке и черном платке, сбитом на глаза. Ноги в блестящих калошах скользили по матовым мосткам и плохо держали женщину.

– Девушка Морошина опять куда-то сбродила, – сказал громко и радостно Степушка. Он сразу узнал старуху и готов был над ней смеяться.

– Вот уж воистину была Морошина. Большая, краснющая. Однажды на посиделки пришла, а Манька Афониха так и вскричит: «Девки, Морошина пришла». – Параскева Осиповна так и выпялилась в окошке, долго рассматривая Феколку, будто век не видала. – Сама-то на камнях голых на печи лежит да в рамках-рванье ходит, а собаку на кровати держит. О дура баба, с печи-то кричит: «Альма, положи голову на подушку да растяни ноги». Господи, чего только время не делает с человеком: оно его родит, оно и уродит.

Параскева опустилась на скамейку, пришлепистый нос подрагивал, значит, мать думала и нервничала. Кудель виляла в ее скорых, не загрубевших пальцах, нитка шла ровно, без узелков, не макаронина, а соломинка ровнехонькая. Параскева поплевала на пальцы, тоненько запела, высоко повела голосом:

– Во лузях да во лузях, во зеленых во лузях выросла да выросла, вырастала трава шелковая...

И неожиданно песню оборвала, скомкала, на диван деревянный коленями вскочила, запрыгала, руками замахала. Мать и в старости не менялась.

– У бабы ведь так: у одной искра, у другой огонь, а у этой адское пламя. Королевой идет. В шестьдесят лет надо саваншить, а она сорокалетнего мужика от семьи да четверых детей отбила и к себе приворожила. Я от нее отреклась, я от нашего роду ее выкинула, Феколку девушку.

Тут из боковушки вышел дядя Михаил. С племянником еще не видался, а потому поздоровались за руку. Была ладонь у дяди Михаила тверда, как еловая доска, и пальцы с толстыми костяшками почти не гнулись, так что Степушке самому пришлось жать дядину руку. У дяди было худое желтое лицо с глубокими дольными морщинами, и оттого казалось, что разделено оно на четыре ровные части, глаза были небольшие и ореховые, как у матери, но тусклые и печальные.

Дядя поворошил Степушкины жесткие волосы и спросил:

– Каково в городе живут? – а не дождавшись ответа, уско-чил к порогу, сел на табурет. Новые шерстяные головки, наверное, кусали, потому дядя Михаил гладил носки, поочередно задирая ноги на колена. А когда Параскева ушла в горницу, подмигнул Степушке толстой седой бровью и показал из кармана пиджака зеленое горлышко. – Пойду успенье на-

правлю. Им, бабам, добро сделаю, молодое бабье лето на жару наведу. А то наскрозь промокли. Может, ты того, за компанию, а?

Но Степушке уж больно хорошо было сейчас и без выпивки, и он без сожаления отказался.

– Вам тут и самим нечего делать, пачкаться только.

– Ну как знаешь. Вольному воля, было бы предложено.

... А пока Степушка раздумывал, чем бы заняться в этот длинный день, как на взвозе сгрохотало, заревело, покатилося, сгремели ведра, заблеяли овцы на заулке. Но Параскева не шевельнулась, не поспешила сразу на взвоз, только волосы будто ветром обдуло, так торчком поднялись они.

– Значит, Мишка заявился, уже на бровях ползет, кат заморский.

А Степушка вдруг с тоской подумал: «Еще две недели отпуска впереди».

Параскева натянула на голову шапку с кожаным верхом, берегла она голову, давление высокое, и пошла на спасение брата. Степушка выскочил следом, чтобы поглазеть и при случае подсобить матери. Дядя Михаил не мог покорить взвоз, он был пьянехонек и кричал:

– Вот за-жгли-ся лю-стры и на-чал-ся бал...

– Будет тебе бал, кат заморский, – грозно воскликнула Параскева и, приподняв сухонького брата, хорошенько шлепнула его по заднице, словно напроказившего ребенка. – И долго ты будешь мои нервы мотать, сколько тебе говорено

было, чтобы за рюмку не брался, раз пить не можешь, – орала Параскева Осиповна на всю улицу безо всякого стеснения. А дождь, заново набрав силу, хвостал по лицу, мешаясь со слезами. Потом вместе со Степушкой занесла брата на кухню, поставила среди пола, чтобы не за что было ухватиться, а пока того мотало, как осиновый куст, Параскева взяла в углу большую жестяную банку из-под монпансье, надела брату на голову и громко забрякала по днищу. – Сейчас тебе смирно будет, сейчас тебе полюбовно будет.

Михаил Осипович махал руками, что-то кричал еще, но гулкий бряк затуманил контуженую голову. С помощью сына Параскева подняла брата на печь, потом сбросила на пол валенки, и фуфайку, и поленья, что сушились для растопки, и паровой утюг сняла.

– Вот, сынок, матери твоя нынче только банкой и спасается.

Не прошло и десяти минут, как печь будто сдвинулась с места, это очнулся Михаил Осипович. Жара расшевелила и без того крепкий хмель, все обиды внезапно всплыли из мутной памяти и закружили мужика с лютой силой. Он стал искать под боком что-либо тяжелое, но Параскева, наученная горьким опытом, уже очистила лежанку. А Михаил начал длинную речь с яростной ругани, поминая всех родственников и суля им всякие страхи. Степушка заметил, что мать как-то опала телом, сделалась маленькой и совсем старой, отвернулась к окну. Плечи ее вздрогнули то ли от холода, то ли от плача. Она постоянно водила мягкой ладонью по белой

голове, словно снимала с нее липкую паутину. Потом не выдержала, подошла к печке.

– Господь с тобой, Михайлушко, чего ты мне сулишь? Опомнись.

Степушка сидел в простенке и с тоской думал, что до конца отпуска еще две недели.

Михаил Осипович замолчал, потом заворочался на печи, опуская вниз поочередно больные ноги и нащупывая приступок, но спускаться было высокогато, и пьяная сила окончательно свалила его набок. Дядя выбрал для себя сучок на потолке и стал плевать:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.